

Много было в лагерях надежды на приходящих фронтовиков — вот кто за стукачей возьмётся! Увы, военные пополнения разочаровывали лагерных борцов: вне своей армии эти вояки, миномётчики и разведчики, совсем скисали, не годились никуда.

Нужны были ещё качания колокольного била, ещё откладки временного метра, пока откроется на Архипелаге мор на стукачей.

* * *

В этой главе мне не хватает материала. Что-то неохотно рассказывают лагерники, как их вербовали. Расскажу ж о себе.

Лишь поздним лагерным опытом, наторевший, я оглянулся и понял, как мелко, как ничтожно я начинал свой срок. В офицерской шкуре привыкнув к незаслуженно высокому положению среди окружающих, я и в лагере всё лез на какие-то должности, и тотчас же падал с них. И очень держался за эту шкуру — гимнастёрку, галифе, шинель, уж так старался не менять её на защитную лагерную чернедь! В новых условиях я делал ошибку новобранца: я выделялся из местности.

И снайперский глаз первого же кума, новоиерусалимского, сразу меня заметил. А на Калужской заставе, как только я из маляров выбился в помощники нормировщика, опять я вытащил эту форму — ах, как хочется быть мужественным и красивым! К тому ж я жил в комнате уродов, там генералы и не так одевались.

Забыл я и думать, как и зачем писал в Новом Иерусалиме автобиографию. Полулёжа на своей кровати как-то вечером, почитывал я учебник физики, Зиновьев что-то жарил и рассказывал, Орачевский и Прохоров лежали, выставив сапоги на перильца кровати, — и вошёл старший надзиратель Сенин (это очевидно была не настоящая его фамилия, он и не русский был, а псевдоним для лагеря). Он как будто не заметил ни этой плитки, ни этих выставленных сапог — сел на чью-то кровать и принял участие в общем разговоре.

Лицом и манерами мне он не нравился, этот Сенин, слишком играл мягкими глазами, но уж какой был окультуренный! какой воспитанный! уж как отличался он среди наших надзирателей — хамов, недотёп и неграмотных. Сенин был ни много ни мало — студент! — студент 4-го курса, вот только не помню какого факультета. Он, видно, очень стыдился эмведистской формы, боялся, чтобы сокурсники не увидели его в голубых погонах в городе, и потому, приезжая на дежурство, надевал форму на вахте, а уезжая — снимал. (Вот современный герой для романистов. Вообразить по царским временам, чтобы прогрессивный студент подрабатывал в тюрьме надзирателем!) Впрочем, культурный-культурный, а послать старика побегушками или назначить работяге трое суток карцера ему ничего не стоило.

Но у нас в комнате он любил вести интеллигентный разговор: показать, что понимает наши тонкие души, и чтоб мы оценили тонкость его души. Так и сейчас — он свежо рассказал нам что-то о городской жизни, что-то о новом фильме и вдруг незаметно для всех сделал мне явное движение — выйти в коридор.

Я вышел, недоумевая. Через сколько-то вежливых фраз, чтоб не было заметно, Сенин тоже поднялся и нагнал меня. И велел тотчас же

идти в кабинет оперуполномоченного — туда вела глухая лестница, где никого нельзя было встретить. Там и сидел сын.

Я его ещё и в глаза не видел. Я пошёл с замиранием сердца. Я — чего боюсь? Я боюсь, чего каждый лагерник боится: чтоб не стали мотать второго срока. Ещё года не прошло от моего следствия, ещё болит во мне всё от одного вида следователя за письменным столом. Вдруг опять переворох прежнего дела: ещё какие-нибудь странички из дневника, ещё какие-нибудь письма...

Тук-тук-тук.

— Войдите.

Открываю дверь. Маленькая, уютно обставленная комната, как будто она не в ГУЛАГе совсем. Нашлось место и для маленького дивана (может быть, сюда он таскает наших женщин) и для радиоприёмника «Филипс» на этажерке. В нём светится цветной глазочек и негромко льётся мягкая какая-то, очень приятная мелодия. Я от такой чистоты звука и от такой музыки совсем отвык, я размягчаюсь с первой минуты: где-то идёт жизнь! Боже мой, мы уже привыкли считать нашу жизнь — за жизнь, а она где-то там идёт, где-то там...

— Садитесь.

На столе — лампа под успокаивающим абажуром. За столом в кресле — опер, как и Ленин — такой же интеллигентный; чернявый, мало-проницаемого вида. Мой стул — тоже полумягкий. Как всё приятно, если он не начнёт меня ни в чём обвинять, не начнёт опять вытаскивать старые погрешности.

Но нет, его голос совсем не враждебен. Он спрашивает вообще о жизни, о самочувствии, как я привыкаю к лагерю, удобно ли мне в комнате придурков. Нет, так не вступают в следствие. (Да где я слышал эту мелодию прелестную?..)

А теперь вполне естественный вопрос, да из любознательности даже:

— Ну, и как после всего происшедшего с вами, всего пережитого, — остаётесь вы советским человеком? Или нет?

А? Что ответишь? Вы, потомки, вам этого не понять: что вот сейчас ответишь? Я слышу, я слышу, нормальные свободные люди, вы кричите мне из 1990 года: «Да пошли его на ... ! (Или, может, потомки уже не будут так выражаться? Я думаю — будут.) Посадили, зарезали — и ещё ему советский человек!»

В самом деле, после всех тюрем, всех встреч, когда на меня хлынула информация со всего света, — ну, какой же я могу остаться советский? Где, когда выстаивало что-нибудь советское против полноты информации?

И если б я столько был уже перевоспитан тюрьмой, сколько образован ею, я конечно, должен был бы сразу отрезать: «Нет! И шли бы вы на ... ! Надоело мне на вас мозги тратить. Дайте отдохнуть после работы!»

Но ведь мы же выросли в послушании, ребята! Ведь если «кто против?.. кто воздержался?..» — рука никак не поднимается, никак. Даже осуждённому, как это можно выговорить языком: я — не советский...?

— В постановлении ОСО сказано, что — антисоветский, — осторожно уклоняюсь я.

— ОСО-о,— отмахивается он безо всякого почтения.— Но сами-то вы что чувствуете? Вы — остаётесь советским? Или переменились, озлобились?

Негромко, так чисто льётся эта мелодия, и не пристаёт к ней наш тягучий, липкий, ничтожный разговор. Боже, как чиста, и как прекрасна может быть человеческая жизнь, но из-за эгоизма властвующих нам никогда не дают её достичь. Монюшко? — не Монюшко, Дворжак? — не Дворжак... Отвязался бы ты, пёс, дал бы хоть послушать.

— Почему я мог бы озлобиться? — удивляюсь я. (Почему в самом деле? «Озлобиться» никак нельзя, это уже пахнет новым следствием.)

— Так значит — советский? — строго, но и с поощрением допытывается опер.

Только не отвечать резко. Только не открывать себя сегодняшнего. Вот скажи сейчас, что — антисоветский, и заведёт лагерное дело, будет паять второй срок, свободно.

— В душе, внутренне — как вы сами себя считаете?

Страшно-то как: зима, вьюги, да ехать в Заполярье. А тут я устроен, спать сухо, тепло, и бельё даже. В Москве ко мне жена приходит на свидание, носит передачи... Куда ехать! зачем ехать, если можно остаться?.. Ну, что позорного — сказать «советский»? Система — социалистическая.

— Я-то себя... д-да... советский...

— Ах, советский! Ну вот это другой разговор,— радуется опер.— Теперь мы можем с вами разговаривать как два советских человека. Значит, мы с вами имеем одну идеологию, у нас общие цели — (только комнаты разные) — и мы с вами должны действовать заодно. Вы *поможете* нам, мы — вам...

Я чувствую, что я уже пополз... Тут ещё музыка эта... А он набрасывает и набрасывает аккуратненькие петельки: я должен помочь им быть в курсе дела. Я могу стать случайным свидетелем некоторых разговоров. Я должен буду о них сообщить...

Вот этого я никогда не сделаю. Это холодно я знаю внутри: советский, не советский, но чтоб о политическом разговоре я вам сообщил — не дождётесь! Однако — осторожность, осторожность, надо как-то мягенько замечать следы.

— Это я... не сумею,— отвечаю я почти с сожалением.

— Почему же? — суровеет мой коллега по идеологии.

— Да потому что... это не в моём характере... — (Как бы тебе помочь сказать, сволочь?) — Потому что... я не прислушиваюсь... не запоминаю...

Он замечает, что что-то у меня с музыкой,— и выщёлкивает её. Тишина. Гаснет тёплый цветной глазок доброго мира. В кабинете — сын и я. Шутки в сторону.

Хоть бы знали они правила шахмат: три раза повторение ходов, и фиксируется ничья. Но нет! На всё ленивые, на это они не ленивые: сто раз он однообразно шахует меня с одной и той же клетки, сто раз я прячусь за ту же самую пешку и опять высываюсь из-за неё. Вкуса у него нет, времени — сколько угодно. Я сам подставил себя под вечный шах, объявившись советским человеком. Конечно, каждый из ста раз есть какой-то оттенок: другое слово, другая интонация.

И проходит час, и проходит ещё час. В нашей камере уже спят, а ему куда торопиться, это ж его работа и есть. Как отвязаться? Какие они вязкие. Уж он намекнул и об этапе, и об общих работах, уже он выражал подозрение, что я заклятый враг, и переходил опять к надежде, что я — заклятый друг.

Уступить — не могу. И на этап мне не хочется ехать зимой. С тоской я думаю: чем всё это кончится?

Вдруг он поворачивает разговор к блатным. Он слышал от надзирателя Сенина, что я резко высказываюсь о блатных, что у меня были с ними столкновения. Я оживляюсь: это — перемена ходов. Да, я их ненавижу. (Но знаю, что *вы* их любите!)

И чтоб меня окончательно расстрогать, он рисует такую картину: в Москве у меня жена. Без мужа она вынуждена ходить по улицам одна, иногда и ночью. На улицах часто раздевают. Вот эти самые блатные, которые бегут из лагерей. (Нет, которых *вы* амнистируете!) Так неужели я откажусь сообщить оперуполномоченному о готовящихся побегах блатных, если мне станет это известно?

Что ж, блатные — враги, враги безжалостные, и против них, пожалуй, все меры хороши... Там уж хороши, не хороши, а главное — сейчас выход хороший. Это как будто и

— Можно. Это — можно.

Ты сказал! Ты сказал, а бесу только и нужно одно словечко! И уже чистый бланк порхает перед мной на стол:

«Обязательство

Я, имя рек, даю обязательство сообщать оперуполномоченному лагучастка о...»
готовящихся побегах заключённых...

— Но мы говорили только о блатных!

— А кто же бежит кроме блатных?.. Да как я в официальной бумаге напишу «блатных»? Это же жаргон. Понятно и так.

— Но так меняется весь смысл!

— Нет, я-таки вижу: *вы* — *не наш* человек, и с вами надо разговаривать совсем иначе. И — не здесь.

О, какие страшные слова — «не здесь», когда вьюга за окном, когда ты придурок и живёшь в симпатичной комнате уродов! Где же это «не здесь»? В Лефортове? И как это — «совсем иначе»? Да в конце концов ни одного побега в лагере при мне не было, такая ж вероятность, как падение метеорита. А если и будут побег — какой дурак будет перед тем о них разговаривать? А значит, я не узнаю. А значит, мне нечего будет и докладывать. В конце концов это совсем неплохой выход... Только...

— Неужели нельзя обойтись без этой бумажки?

— Таков порядок.

Я вздыхаю. Я успокаиваю себя оговорочками и ставлю подпись о продаже души. О продаже души для спасения тела. Окончено? Можно идти?

О, нет. Ещё будет «о неразглашении». Но ещё раньше, на этой же бумажке:

— Вам предстоит выбрать псевдоним.

Псевдоним?... Ах, кличку! Да-да-да, ведь осведомители должны иметь кличку! Боже мой, как я быстро скатился. Он-таки меня переиграл. Фигуры сдвинуты, мат признан.

И вся фантазия покидает мою опустевшую голову. Я всегда могу находить фамилии для десятков героев! Сейчас я не могу придумать никакой клички. Прислушиваясь ли за окном, он милосердно под-сказывает мне:

— Ну, например, Ветров.

И я вывожу в конце обязательства — «Ветров». Эти шесть букв выкаляются в моей памяти позорными трещинами.

Ведь я же хотел умереть с людьми! Я же готов был умереть с людьми! Как получилось, что я остался жить во псах?..

А уполномоченный прячет моё обязательство в сейф — это его выработка за вечернюю смену, и любезно поясняет мне: сюда, в кабинет, приходить не надо, это навлечёт подозрение. А надзиратель Сенин — доверенное лицо, и все сообщения (доносы!) передавать незаметно через него.

Так ловят птичек. Начиная с коготка.

В тот год я, вероятно, не сумел бы остановиться на этом рубеже. Ведь за гриву не удержался — за хвост не удержишься. Начавший скользить — должен скользить и срываться дальше.

Но что-то мне помогло удержаться. При встрече Сенин понукал: ну, ну? Я разводил руками: ничего не слышал. Блатным я чужд и не могу с ними близиться. А тут как назло — не бегали, не бегали, и вдруг бежал воришка из нашего лагерья. Тогда — о другом! о бригаде! о комнате! — настаивал Сенин. — О другом я не обещал! — твердил я (да и к весне уже шло). Всё-таки маленькое достижение было, что я дал обязательство слишком частное — о побегах.

А тут меня по спецнаряду министерства выдернули на шарашку. Так и обошлось. Ни разу больше мне не пришлось подписаться «Ветров». Но и сегодня я поёживаюсь, встречая эту фамилию.

О, как же трудно, как трудно становиться человеком! Даже если прошёл ты фронт, и бомбили тебя, и на минах ты рвался — это ещё только начало мужества. Это ещё — не всё...

Прошло много лет. Были шарашки, были особые лагеря. Держался я независимо, всё наглей, никогда больше оперчасть не баловала меня расположением, и я привык жить с весёлым дыханием, что на деле моём поставлена проба: «не вербовать!».

Послали меня в ссылку. Прожил я там почти три года. Уже началось рассасывание и ссылки, уже освободили несколько национальностей. Уже на отметку в комендатуру мы, оставшиеся, ходили с шуточками. Уже и XX съезд прошёл. Уже всё казалось навеки конченным. Я строил весёлые планы отъезда в Россию, как только получу освобождение. И вдруг на выходе из школьного двора меня приветливо окликнул по имени-отчеству какой-то хорошо одетый (в гражданском) казах и поспешил поздороваться за руку.

— Пойдёмте побеседуем! — ласково кивнул он в сторону комендатуры.